

Михаил Кузмин

Крылья

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3
ББК 84
К89

К89 **Кузмин М.**
Крылья / Михаил Кузмин – М.: Книга по Требованию, 2012. – 50 с.

ISBN 978-5-4241-2198-2

Гомоэротическая повесть поэта, прозаика и переводчика Михаила Кузмина "Крылья" (1906), сразу же обрела скандальную известность и до сих пор является едва ли не единственным классическим текстом русской литературы на тему гомосексуальной любви.

ISBN 978-5-4241-2198-2

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2012

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2012

Михаил Кузмин
Крылья
Повесть в трех частях

Часть первая

В несколько опустевшем под утро вагоне становилось все светлее; через запотевшие окна можно было видеть почти ядовито-яркую, несмотря на конец августа, зелень травы, размокшие дороги, тележки молочниц перед закрытым шлагбаумом, будки сторожей, гуляющих дачниц под цветными зонтиками. На частых и однообразных станциях в вагон набирались новые местные пассажиры с портфелями, и было видно, что вагон, дорога, — для них не эпоха, ни даже эпизод жизни, а обычная часть дневной программы, и скамейка, где сидел Николай Иванович Смуров с Ваней, казалась наиболее солидной и значительной из всего вагона. И крепко завязанные чемоданы, ремни с подушками, сидевший напротив старый господин с длинными волосами и с вышедшей из моды сумкой через плечо, — все говорило о более продолжительном пути, о менее привычном, более делающем эпоху путешествии.

Глядя на красноватый луч солнца, мелькавший неровным заревом через клубы локомотивного пара, на поглупевшее лицо спящего Николая Ивановича, Ваня вспомнил скрипучий голос этого же брата, говорившего ему в передней там, далеко, «дома»: «денег тебе от мамы ничего не осталось; ты знаешь, мы и сами не богаты, но, как брату, я готов тебе помочь; тебе еще долго учиться, к себе я взять тебя не могу, а поселю у Алексея Васильевича, буду навещать; там весело, много нужных людей можно встретить. Ты старайся; мы сами бы с Натшей рады тебя взять, но решительно невозможно; да тебе и самому у Казанских будет веселей: там вечно молодежь. За тебя я буду платить; когда разделимся — вычту». Ваня слушал, сидя на окне в передней и глядя как солнце освещало угол сундука, полосатые, серые с лиловатым, брюки Николая Ивановича и крашеный пол. Смысла слов он не старался уловить, думая, как умирала мама, как вдруг весь дом наполнился какими-то, прежде чужими и теперь ставшими необыкновенно близкими, бабами, вспоминая хлопоты, панихиды, похороны и внезапную пустоту и пустынную после всего этого, и, не смотря на Николая Ивановича, он говорил только машинально: «да, дядя Коля», — хотя Николай Иванович и не был дядя, а только двоюродный брат Вани.

И теперь ему казалось странным ехать вдвоем с этим все-таки совсем чужим ему человеком, быть так долго близко к нему, разговаривать о делах, строить планы. И он был несколько разочарован, хотя и знал это раньше, что в Петербург въезжают не сразу в центр дворцов и больших строений при народе, солнце, военной музыке, через большую арку, а тянутся длинные огороды, видные через серые заборы, кладбища, издали казавшиеся романтическими рощами, шестиэтажные промозглые дома рабочих среди деревянных развалюшек, через дым и копоть. «Так вот он — Петербург!» — с разочарованием и любопытством думал Ваня, смотря на неприветливые лица носильщиков.

— Ты прочитал, Костя, — можно? — проговорила Анна Николаевна, вставая из-за стола и беря длинными, в дешевых кольцах, несмотря на утренний час, пальцами пачку русских газет от Константина Васильевича.

— Да; ничего интересного.

— Что же может быть интересного в наших газетах? Я понимаю — заграницей! Там все можно писать, отвечая за все же, в случае надобности, перед судом.

У нас же нечто ужасное, — не знаешь чему верить. Донесения и сообщения от правительства — неверны или ничтожны, внутренней жизни, кроме растрат, никакой, только слухи специальных корреспондентов.

— Но ведь и за границей только сенсационные слухи, причем за вранье перед законом не отвечают. Кока и Боба лениво болтали ложками в стаканах и ели хлеб с плохим маслом.

— Ты куда сегодня, Ната? много дела? — спрашивала Анна Николаевна несколько деланным тоном.

Ната, вся в веснушках, с вульгарно припухлым ртом, рыжеватая, что-то отвечала сквозь набитый булкой рот. Дядя Костя, проворовавшийся кассир какого-то темного клуба, после выхода из заключения живший без места и дел у брата, возмущался процессом о хищеньи.

— Теперь, когда все просыпается, нарождаются новые силы, все пробуждается, — горячился Алексей Васильевич.

— Я вовсе не за всякое пробуждение; например, тетку Сонину я предпочитаю спящей.

Приходили и уходили какие-то студенты и просто молодые люди в пиджаках, обмениваясь впечатлениями о только что бывших скачках, почерпнутыми из газет; дядя Костя потребовал водки; Анна Николаевна, уже в шляпе, натягивая перчатки, говорила о выставке, косясь на дядю Костю, который наливал рюмки слегка дрожащими руками и, поводя добрыми красноватыми глазами, говорил: «Забастовка, други мои, это знаете, это, знаете»...

— Ларион Дмитриевич! — дoloжила прислуга, быстро проходя в кухню и забирая по пути поднос со стаканами и запачканную смятую скатерть. Ваня отвернулся от окна, где он стоял, и увидел входящую в дверь хорошо знакомую длинную фигуру, в мешковатом платье, Лариона Дмитриевича Штрупа.

Ваня с некоторых пор стал причесываться и заниматься своим туалетом. Рассматривая в небольшое зеркало на стене свое отражение, он безучастно смотрел на несколько незначительное круглое лицо с румянцем, большие серые глаза, красивый, но еще детски припухлый рот и светлые волосы, которые, не остриженные коротко, слегка кудрявились. Ему ни нравился, ни не нравился этот высокий и тонкий мальчик в черной блузе с тонкими бровями. За окном виднелся двор с мокрыми плитами, окна противоположного флигеля, разносчики со спичками. Был праздник, и все еще спали. Вставши рано по привычке, Ваня сел к окну дожидаться чая, слушая звон ближайшей церкви и шорох прислуги, убиравшей соседнюю комнату. Он вспомнил праздничные утра там, «дома», в старом уездном городке, их чистые комнатки с кисейными занавесками и лампадами, обедню, пирог за обедом, все простое, светлое и милое, и ему стало скучно от дождливой погоды, шарманок на дворах, газет за утренним чаем, сумбурной и неуютной жизни, темных комнат.

В дверь заглянул Константин Васильевич, иногда заходивший к Ване.

— Ты один, Ваня?

— Да, дядя Костя. Здравствуйте! А что?

— Ничего. Чаю ожидаешься?

— Да. Тетя еще не встала?

— Встала, да не выходит. Злитесь, верно, денег нет. Это первый признак: как два часа сидит в спальне, значит, денег нет. И к чему? Все равно вылезать при-

дется.

— Дядя Алексей Васильевич много получает? Вы не знаете?

— Как придется. Да и что значит «много»? Для человека денег никогда не бывает много. Константин Васильевич вздохнул и помолчал, молчал и Ваня, смотря в окно.

— Что я у тебя хочу спросить, Иванушка, — начал опять Константин Васильевич, — нет ли у тебя свободных денег до середины, я тебе тотчас в среду отдам?

— Да откуда же у меня будут деньги? Нет, конечно.

— Мало ли откуда? Может дать кто...

— Что вы, дядя! Кто же мне будет давать?

— Так, значит, нет? — Нет.

— Плохо дело!

— А вы сколько желали бы иметь?

— Рублей пять, немного, совсем немного, — снова оживился Константин Васильевич.

— Может, найдутся, а? Только до середины?!

— Нет у меня пяти рублей. Константин Васильевич посмотрел разочарованно и хитро на Ваню и помолчал. Ване сделалось еще тоскливее.

— Что ж делать-то? Дождик еще идет... Вот что, Иванушка, попроси денег для меня у Лариона Дмитриевича.

— У Штруппа?

— Да, попроси, голубчик!

— Что ж вы сами не попросите?

— Он мне не даст.

— Почему же вам не даст, а мне даст?

— Да уж даст, поверь; пожалуйста, голубчик, только не говори, что для меня; будто для тебя самого нужно 20 рублей.

— Да ведь 5 только?!

— Не все ли равно, сколько просить? Пожалуйста, Ваня!

— Ну, хорошо. А если он спросит зачем мне?

— Он не спросит, он — умница.

— Только вы уж сами отдавайте, смотрите.

— Не премину, не премину.

— А почему вы думаете, дядя, что Штрупп мне даст денег?

— Так уж думаю! — И, улыбаясь, сконфуженный и довольный, Константин Васильевич на цыпочках вышел из комнаты. Ваня долго стоял у окна, не оборачиваясь и не видя мокрого двора, и когда его позвали к чаю, раньше, чем войти в столовую, он еще раз посмотрел в зеркало на свое покрасневшее лицо с серыми глазами и тонкими бровями. На греческом Николаев и Шпилевский все время развлекали Ваню, вертясь и хихикая на передней парте. Перед каникулами занятия шли кое-как, и маленький стареющий учитель, сидя на ноге, говорил о греческой жизни, не спрашивая уроков; окна были открыты, и виднелись верхушки зеленеющих деревьев и красный корпус какого-то здания. Ване все больше и больше хотелось из Петербурга на воздух, куда-нибудь подальше. Медные ручки дверей и окон, плевалницы, все ярко вычищенное, карты по стенам, доска, желтый ящик для бумаг, то стриженные, то кудрявые затылки товарищей — казались ему невыносимыми.

— Сикофанты-доносчики, шпионы, буквально — показыватели фиг; когда был еще запрещен вывоз из Аттики этих продуктов под страхом штрафа, эти люди, шантажисты по-нашему, показывали подозреваемому из-под плаща фигу в виде угрозы, что в случае, если он не откупится от них... — И Даниил Иванович, не сходя с кафедры, показывал жестом и мимикой и доносчиков, и оклеветанных, и плащ и фигу потом, сорвавшись с места, ходил по классу, озабоченно повторяя что-нибудь одно и то же, вроде: «Сикофанты... да сикофанты... да, господа, сикофанты», придавая различные но совершенно неожиданные для данного слова оттенки. «Сегодня постараюсь спросить у Штрупа денег», — думая: Ваня, глядя в окно. Шпилевский, окончательно красный, поднялся с парты:

— Что это Николаев ко мне пристаёт?!

— Николаев, зачем вы пристаёте к Шпилевскому?

— Я не пристаю.

— Что же вы делаете?

— Я его щечочу.

— Садитесь. А вам, г-н Шпилевский, советую быть более точным в словопотреблении. Принимая в соображение, что вы не женщина, приставать к вам г-н Николаев не может будучи юношей уже на возрасте и понятий достаточно ограниченных.

— Я ставлю вопрос так: хочешь работать — работай, не хочешь — не работай, — говорила Анна Николаевна таким видом, будто интерес всего мира сосредоточен на том как она ставит вопрос. В гостиной, уставленной вдоль и поперек стильной мебелью в виде сидячих ванн, купальни: кресел и ящиков для бумаг, было шумно от четырех женски голосов: Анны Николаевны, Наты, сестер Шпейер — художниц.

— Этот шкаф я очень люблю, но скамейка меня не привлекает. Я бы всегда предпочла шкаф.

— Даже если б нужна была мебель для сиденья?

— Негодуют на заваленность работой прислуги: она больше гуляет, чем мы! Иногда я днями не выхожу из дому, нашей Аннушке сколько раз приходится сходить в лавку, — мало ли за чем, за хлебом, за сапогами. И притом общенью с людьми громадное. Я нахожу жалобы всех жалельщиков очень преувеличенными.

— Представьте, он позирует с таким настроением, что ученицы боятся сидеть близко. Притом интереснейшая личность: русский цыган из Мюнхена; был в гимназии, в балете, в натурщиках; о Штуке сообщает презанятные подробности.

— На розовом фуляре это будет слишком ярко. Я бы предпочла бледно-зеленый.

— Об этом нужно спросить у Штрупа.

— Но ведь он вчера уехал, Штруп, несчастные! — закричала старшая Шпейер.

— Как, Штруп уехал? Куда? зачем?

— Ну, уж этого я вам не могу сказать: по обыкновению — тайна.

— От кого вы слышали?

— Да от него же и слышала; говорит, недели на три.

— Ну, это еще не так страшно!

— А сегодня еще Ваня Смуров спрашивал, когда будет у нас Штруп.

- А ему-то на что?
- Не знаю, дело какое-то.
- У Вани со Штрупом?
- Вот оригинально!

— Ну, Ната, нам пора, — старалась зашебетать Анна Николаевна, и обе дамы, шурша юбками, удалились, уверенные, что они очень похожи на светских дам романов Прево и Онэ, которые они читали в переводе. В апреле был поднят вопрос о даче. Алексей Васильевич должен был часто, почти ежедневно бывать в городе; Кока с Бобой также, и планы Анны Николаевны и Наты относительно Волги висели в воздухе. Колебались между Териоками и Сестрорецком, но, независимо от места дачи, все заботились о летних платьях. В раскрытые окна летела пыль и слышался шум езды и звонки конок. Готовить уроки, читать Ваня уходил иногда в Летний сад. Сидя на крайней дорожке к Марсову полю, положив раскрытую желто-розовую книжку изданий Тейбнера обложкой вверх, он смотрел, слегка еще выросший и побледневший от весеннего загара, на прохожих в саду и по ту сторону Лебяжьей канавки. С другого конца сада доносился смех детей, играющих на Крыловской площадке, и Ваня не слышал, как заскрипел песок под ногами подходившего Штрупа.

— Занимаетесь! — проговорил тот, опускаясь на скамью рядом с Ваней, думавшим ограничиться поклоном.

— Занимаюсь; да, знаете, так все это надоело, что просто ужас!..

— Что это, Гомер?

— Гомер. Особенно этот греческий!

— Вы не любите греческого?

— Кто же его любит? — улыбнулся Ваня.

— Это очень жаль!

— Что это?

— Что вы не любите языков.

— Новые я, ничего, люблю, можно прочесть что-нибудь, а по-гречески кто же будет их читать, допотопность такую?

— Какой вы мальчик, Ваня. Целый мир, миры для вас закрыты; притом мир красоты, не только знать, но любить который — основа всякой образованности.

— Можно читать в переводах, а столько времени учить грамматику?! Штруп посмотрел на Ваню с бесконечным сожалением.

— Вместо человека из плоти и крови, смеющегося или хмурого, которого можно любить, целовать, ненавидеть, в котором видна кровь, переливающаяся в жилах, и естественная грация нагого тела, — иметь бездушную куклу, часто сделанную руками ремесленника, — вот переводы. А времени на подготовительное занятие грамматикой нужно очень мало. Нужно только читать, читать и читать. Читать, смотря каждое слово в словаре, пробираясь как сквозь чащу леса, и вы получили бы неиспытанные наслаждения. А мне кажется, что в вас, Ваня, есть задатки сделаться настоящим новым человеком. Ваня недовольно молчал.

— Вы плохо окружены, но это может быть к лучшему, лишая вас предрассудков всякой традиционной жизни, и вы могли бы сделаться вполне современным человеком, если бы хотели, — добавил, помолчав, Штруп.

— Я не знаю, я хотел бы куда-нибудь уехать от всего этого: и от гимназии, и от Гомера, и от Анны Николаевны — вот и все.

— На лоно природы?

— Именно.

— Но, милый друг мой, если жить на лоне природы — значит, больше есть, пить молоко, купаться и ничего не делать — то, конечно, это очень просто; но наслаждаться природой, пожалуй, труднее греческой грамматики и, как всякое наслаждение, утомляет. И я не поверю человеку который, видя равнодушно в городе лучшую часть природы — небо и воду, едет искать природы на Монблан; я не поверю, что он любит природу. Дядя Костя предложил Ване подвезти его на извозчике. В жарком утре уже чувствовалась близость лета, и улицы наполовину были перегорожены рогатками. Дядя Костя, занимая три четверти пролетки, крепко сидел, расставя ноги — Дядя Костя, вы подождите немного, я только узнаю пришел ли батюшка, и если не пришел, я проеду с вами, куда вам нужно, а оттуда пройду пешком, чем в гимназии то сидеть. Хорошо?

— А почему ваш батюшка должен не прийти?

— Он уж неделю болеет.

— А, ну хорошо, спрашивай. Через минуту Ваня вышел и, обошедши извозчика, сел с другой стороны, рядом с Константином Васильевичем. А Ларион-то Дмитриевич будто предчувствовал, брат, какие мы на него планы строим, — уехал, да и не приезжает.

— Может быть, он и приехал.

— Тогда бы явился к Анне Николаевне.

— Кто он такой, дядя Костя?

— Кто, кто такой?

— Ларион Дмитриевич.

— Штруп — и больше ничего. Полу-англичанин, богатый человек, нигде не служит, живет хорошо, даже отлично, в высшей степени образованный и начитанный человек, так что я даже не понимаю, чего он бывает у Казанских?

— Ведь он неженатый, дядя?

— Даже совсем наоборот, и если Ната думает, что он на все прельстится, то жестоко ошибается, и вообще, я решительно не понимаю, что ему делать у Казанских? Вчера, умора: Анна Николаевна давала генеральное сражение Алексею! Они переезжали мостом через Фонтанку. Мужики на садках вытаскивали рыбу из люков, дымили пароходики, и толпа без дела стояла у каменного парапета. Мороженик с грохотом подвигал свой голубой ящик.

— Ты, может быть, слышал от кого, что Штруп вернулся, или его самого видел? — говорил на прощанье дядя Костя.

— Нет, да где же, раз он, говорите, не приезжал, — сказал Ваня, краснея. — Вот ты говорил, что не жарко, а сам как раскраснелся, — и тучная фигура Константина Васильевича скрылась в подъезде. «Зачем я скрыл встречу со Штрупом?» — думал Ваня, радуясь, что у него образовывается какая-то тайна. В учительской было сильно накурено, и стаканы жидкого чая слегка янтарились в полутемной комнате первого этажа. Входящим казалось, что фигуры движутся в аквариуме. Шедший за матовыми окнами проливной дождь усиливал это впечатление. Шум голосов, звяканье ложек мешался с глухим гамом большой перемены, доносившимся из залы и временами совсем близко — из коридора.

— Орлова опять изводят шестиклассники; решительно, он не умеет себя поставить.

— Ну, хорошо, ну, допустим, вы выведете ему двойку, он останется, — думаете ли вы этим его исправить?

— Я вовсе не преследую исправительные цели, а стараюсь о справедливой оценке знания.

— Наши бы гимназисты пришли в ужас, если бы увидели программы французских коллежей, не говоря о семинариях.

— Вряд ли Иван Петрович будет этим доволен.

— Бесподобно, говорю вам, бесподобно, вчера он был отлично в голосе.

— Вы тоже хороши, лезете на малый в трюфах, а у самого король, валет и две маленькие.

— Шпилевский — распутный мальчишка, и я не понимаю, что вы за него так стоите. Все голоса покрыл резкий тенор инспектора, чеха в пенсне и в седой бородке клином: — Потом я попрошу вас, господа, наблюдать за форточками; никогда выше четырнадцать градус, тяга и вентиляция. Постепенно расходились, и в пустешей учительской раздавался только тихий басок учителя русского языка, беседовавшего с греком.

— Удивительные там попадают типы. На лето, перед поступлением, предлагалось прочесть кое-что, довольно много, и, например, Демона — так передают их абгурто[Без обиняков лат.] «Дьявол летал над землею и увидел девочку».

— Как же эту девочку звали?

— «Лиза»

— Положим, Тамара.

— «Так точно, Тамара».

— Ну и что же?

— «Он захотел на ней жениться, да жених помешал, потом жениха убили татары».

— Что же, тогда Демон женился на Тамаре?

— «Никак нет, ангел помешал, дорогу перешел; так Дьявол и остался холостым и все возненавидел».

— По-моему, это великолепно...

— Или об Рудине отзыв: «Дрянной был человек, все говорил, а ничего не делал; потом связался с пустыми людьми, его и убили».

— Почему же, — спрашиваю, — вы считаете рабочих и вообще всех участников народного движения, во время которого погиб Рудин, людьми пустыми?

— «Так-точно, — отвечает, — за правду пострадал».

— Вы напрасно добивались личного мнения этого молодого человека о прочитанном. Военная служба, как монастырь, как почти всякое выработанное вероучение, имеет громадную привлекательность в наличности готовых и определенных отношений ко всякому роду явлениям и понятиям. Для слабых людей это — большая поддержка, и жизнь делается необыкновенно легкой, лишенная этического творчества. В коридоре Даниила Ивановича поджидал Ваня.

— Что вам угодно, Смуров?

— Я бы хотел, Даниил Иванович, поговорить с вами приватно.

— Насчет чего же?

— Насчет греческого.

— Разве у вас не все благополучно?

— Нет, у меня три с плюсом.

— Так что же вам?

— Нет, я вообще хотел поговорить с вами о греческом, и вы, пожалуйста, Даниил Иванович, позвольте мне прийти к вам на квартиру.

— Да, пожалуйста, пожалуйста. Адрес мой знаете. Хотя это более чем замечательно: человек, у которого все благополучно, — и желающий приватно говорить о греческом. Пожалуйста, я живу один, от семи до одиннадцати всегда к вашим услугам. Даниил Иванович стал уже подыматься по половику лестницы, но, остановясь, закричал Ване: «Вы, Смуров, не подумайте чего: после одиннадцати я тоже дома, но ложусь спать и способен уже только на самые приватные объяснения, в которых вы, вероятно, не нуждаетесь». Ваня не раз встречал Штрупа в Летнем саду и, сам не замечая, поджидал его, всегда садясь в одну и ту же аллею, и, уходя, не дождавшись, легкой, несмотря на преднамеренную медленность, походкою, зорко всматривался в похожие на Штрупа фигуры мужчин. Однажды, когда, не дождавшись, он пошел обойти часть сада, где он никогда не был, он встретил Коку, шедшего в расстегнутом пальто поверх тужурки.

— Вот ты где, Иван! Что, гуляешь?

— Да, я довольно часто здесь бываю, а что?

— Что же я тебя никогда не вижу? Ты где-нибудь в другой стороне сидишь, что ли?

— Как придется.

— Вот Штрупа я каждый раз встречаю и даже подозреваю, — не за одним ли и тем же мы и ходим сюда?

— Разве Штруп приехал?

— Некоторое время. Ната и все это знают, и какая бы Ната ни была дура, — все-таки свинство, что он к нам не является, будто мы какая-нибудь дрянь.

— При чем же тут Ната?

— Она ловит Штрупа и совершенно зря делает: он вообще не женится, а тем более на Нате, я думаю, что и с Идой-то Гольберг у него только эстетические разговоры, и я напрасно волнуюсь.

— Разве ты волнуешься?

— Понятно, раз я влюблен! — и, забыв, что он разговаривает с не знавшим его дел Ваней, Кока оживился: — чудная девушка, образованная; музыкантша, красавица, и как богата! Только она — хромая. И вот хожу сюда каждый день видеть ее, она здесь гуляет от 3–4 часов, и Штруп, боюсь, ходит не за тем же ли.

— Разве Штруп тоже в нее влюблен?

— Штруп?

— Ну, уж это атанде, у него нос не тем концом пришит! Он только разговоры разговаривает, а она-то на него чуть не молится. А влюбленности Штрупа, это — совсем другая, совсем другая область.

— Ты просто злишься, Кока!..

— Глупо!.. Они только что повернули мимо грядки красной герани, как Кока провозгласил: «Вот и они!» Ваня увидел высокую девушку, с бледным кругловатым лицом, совсем светлыми волосами, с афродизийским разрезом больших серых, теперь посиневших от волнения глаз, со ртом, как на картинах Боттичелли, в темном платье; она шла, хромая и опираясь на руку пожилой дамы, между